

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Часть 9. СТИХИ.

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА



Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина - родилась 10 апреля 1937 в Москве. Стихи писала с детства.

Во время учебы в Литинституте Ахмадулина публиковала стихи в литературных журналах. Занималась журналистикой, писала очерки. В 1959 Белла Ахмадулина была исключена из института за отказ участвовать в травле Б.Л. Пастернака, но затем восстановлена. В 1960 окончила институт с отличной оценкой дипломной работы.

В 1969 г. в ФРГ в эмигрантском издательстве «Посев» вышел поэтический сборник «Озноб», в котором были собраны все стихи, написанные в течение 13 лет. В 1977 она была избрана почетным членом Американской академии искусства и литературы. Вместе с А. Вознесенским, Е. Евтушенко и Р. Рождественским ее называли «поэтом эстрады».

Белла Ахмадулина — автор многочисленных эссе — о В. Набокове, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Вен. Ерофееве, А. Твардовском, П. Антокольском, В. Высоцком и др. В 1989 ей была присуждена Государственная премия СССР.

29 ноября 2010 года знаменитая поэтесса скончалась на своей даче в Переделкине на 74-м году жизни.

Не добела раскалена,
и всё-таки уже белеет
ночь над Невой.

Ум болеет
тоской и негой молодой.
Когда о купол золотой
луч разобьётся предрассветный
и лето входит в Летний сад,
каких наград, каких услад
иных

просить у жизни этой?

1978

Вот не такой, как двадцать лет назад,
а тот же день. Он мною в половине
покинут был, и сумерки на сад
тогда не пали и падут лишь ныне.

Барометр, своим умом дошед
до истины, что жарко, тем же делом
и мненьем занят. И оса - дюшес
когтит и гложет ненасытным телом.

Я узнаю пейзаж и натюрморт.
И тот же некто около почтамта
до сей поры конверт не надорвёт,
страшась, что весть окажется печальна.

Всё та же в море бледность пустоты.
Купальщик, тем же опалённый светом,
переступает моря и строфы
туманный край, став мокрым и воспетым.

Соединились море и пловец,
кефаль и чайка, ржавый мёд и жало.
И у меня своя здесь жертва есть:
вот след в песке - здесь девочка бежала.

Я помню - ту, имевшую в виду
писать в тетрадь до сини предрассветной.
Я медленно навстречу ей иду -
на двадцать лет красивей и предсмертной.

- Всё пишешь, - я с усмешкой говорю.
Брось, отступись от рокового дела.
Как я жалею молодость твою.
И как нелепо ты, дитя, одета.

Как тщетно всё, чего ты ждёшь теперь.
Всё будет: книги, и любовь, и слава.
Но страшен мне канун твоих потерь.
Молчи. Я знаю. Я имею право.

И ты надменна к прочим людям. Ты
не можешь знать того, что знаю ныне:
в чудовищных веригах немоты
оплачешь ты свою вину пред ними.

Беги не бед - сохранности от бед.
Страшись тщеты смертельного излишка.
Ты что-то важно говоришь в ответ,
но мне - тебя, тебе - меня не слышно.

1977

Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,

но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолимый,
в сохранности от всех благополучий,
но обойди твоей опекой жгучей
двух девочек, замаранных малиной.

Ещё смеются, рыщут в листьях ягод
и вдруг, как я, глядят с такой же грустью.
Как все, хотела - и поила грудью,
хотела - мёдом, а вспоила - ядом.

Непоправима и невероятна
в их лицах мета нашего единства.
Уж коль ворона белой уродится,
не дай ей бог, чтоб были воронята.

Белеть - нелепо, а чернеть - не ново,
чернеть - недолго, а белеть - безбрежно.
Всё более я пред людьми безгрешна,
всё более я пред детьми виновна.

1974

Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.
- Вам сколько лет? - Ответила: - Осьмнадцать. -
Многоугольник скул, локтей, колен.
Надменность, угловатость и косматость.

Всё чудно в ней: и доблесть худобы,
и рыцарский какой-то блеск во взгляде,
и смуглый лоб... Я знаю эти лбы:
ночь напролёт при лампе и тетради.

Так и сказала: - Мне осьмнадцать лет.
Меня никто не понимает в доме.
И пусть! И пусть! Я знаю, что поэт! -
И плачет, не убрав лицо в ладони.

Люблю, как смотрит гневно и темно,
и как добра, и как жадна до боли.
Я улыбаюсь. Знаю, что - давно,
а думаю: давно ль и я, давно ли?..

Прощается. Ей надобно - скорей,
не расточив из времени ни часа,
робеть, не зная прелести своей,
печалиться, не узнавая счастья...

1974

Этот ад, этот сад, этот зоо -
там, где лебеди и зоосад,
на прицеле всеобщего взора
два гепарда, обнявшись, лежат.

Шерстью в шерсть, плотью в плоть проникая,
сердцем втиснувшись в сердце - века
два гепарда лежат. О, какая,
два гепарда, какая тоска!

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,
равный глаз безысходной любви.
На потеху толпе простодушной
обнялись и лежат, как легли.

Прихожу ли я к ним, ухожу ли
не слабее с той давней поры
их объятие густое, как джунгли,
и сплошное, как камень горы.

Обнялись - остальное неправда,
ни утрат, ни оград, ни преград.
Только так, только так, два гепарда,
я-то знаю, гепард и гепард.

1974

Анне Ахматовой

Я завидую ей - молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела, -
нарушенье черты и предела
и востока незваная власть,
так - на северный край чистотела
вдруг - персидской сирени напасть.

Но её и моё имена
были схожи основой кромешной,
лишь однажды взглянула с усмешкой,
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать - посмевшей
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей - молодой
до печали, но до упаданья
головою в ладонь, до страданья,
я завидую ей же - седой
в час, когда не прервали свиданья
две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,
с вещим слухом, окликнутым зовом,
то ли голосом чьим-то, то ль звоном,
излучённым звездой и звездой,
с этим неописуемым зобом,
полным песни, уже неземной.

Я завидую ей - меж корней,

нищей пленнице рая и ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.
1974

Теперь о тех, чьи детские портреты
вперяют в нас неукротимый взгляд:
как в рекруты, забритые в поэты,
те стриженные девочки сидят.

У, чудища, в которых всё нечётко!
Указка им - лишь наущенье звёзд.
Не верьте им, что кружева и чёлка.
Под чёлкой - лоб. Под кружевами - хвост.

И не хотят, а притворятся ловко.
Простак любви влюбиться норовит.
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.
Тать мглы ночной, «мне страшно!» - говорит.

Муж несравненный! Удели ей ада.
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:
дай ей страдать - и хлебом не корми!

Твоя измена ей сподручней ласки.
Когда б ты знал, прижав её к груди:
всё, что ты есть, она предаст огласке
на столько лет, сколь есть их впереди.

Кто жил на белом свете и мужского
был пола, знает, как судьба прочна
в нас по утрам: иссохло в горле слово,
жить надо снова, ибо ночь прошла.

А та, что спит, смыкая пуще веки, -

что ей твой ад, когда она в раю?
Летит, минуя там, в надзвёздном верхе,
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.

А всё ж - пора. Стыдясь, озябнув, мучась,
напялит прах вчерашнего пера
и - прочь, одна, в бесхитростную участь
жить, где жила, где жить опять пора.
Те, о которых речь, совсем иначе
встречают день. В его начальной тьме,
о, их глаза, - как рысий фосфор, зрячи,
и слышно: бьётся сильный пульс в уме.

Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!
Вчерашний день ей не в науку. Ты -
здесь ни при чём. Её душа свободна.
Ей весело, что листья так желты.

Ей важно, что тоскует звук о звуке.
Что ты о ней - ей это всё равно.
О муке речь. Но в степень этой муки
тебе вовек проникнуть не дано.

Ты мучил женщин, ты был смел и волен,
вчера шутил - уже не помнишь с кем.
Отныне будешь, славный муж и воин,
там, где Лаура, Беатриче, Керн.

По октябрю, по болдинской аллее
уходит вдаль, слезы не обронив, -
нежнее женщин и мужчин вольнее,
чтоб заплатить за тех и за других.

1973

Опять сентябрь, как тьму времён назад,
и к вечеру мужает юный холод.
Я в таинствах подозреваю сад:
всё кажется - там кто-то есть и ходит.

Мне не страшней, а только веселей,
что призраком населена округа.
Я в доброте моих осенних дней
ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль
писать в тетрадь - с последнею росой
траву и воздух, в зримую спираль
закрученный неистовой осой.

И вот ещё: вниманье чьих очей,
воспринятое некогда луною,
проделало обратный путь лучей
и на земле увиделось со мною?

Любой, чьё зренье вобрала луна,
свободен с обожаньем иль укором
иных людей, иные времена
оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе
так мучат нас её пустые камни?
О, знаю я, кто пристальней, чем все,
её посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,
для вечности в окне оставив щёлку.
И Пушкина неотвратимый взгляд
ночь напролёт мне припекает щёку.
1973

[Взойти на сцену](#)

Пришла и говорю: как нынешнему снегу
легко лететь с небес в угоду февралю,
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю.

О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.

Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги,
и он умрёт, как снег, и превратится в грязь.

Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь
явиться на помост с больничной простыни.
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!
О, кто-нибудь, приди и время растяни!

По грани роковой, по острию каната -
плясунья, так пляши, пока не сорвалась.
Я знаю, что умру, но я очнусь, как надо.
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.

Исчерпана до дна пытливыми глазами,
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.
Себя не сохраню, его не посрамлю.

Когда же я очнусь от суетного риска
неведомо зачем сводить себя на нет,
но скажет кто-нибудь: она была артистка,
и скажет кто-нибудь: она была поэт.

Измучена гортань кровотеченьем речи,
но весел мой прыжок из темноты кулис.
В одно лицо людей, всё явственней и резче,
сливаются черты прекрасных ваших лиц.
Я обращаю в поклон нерасторопность жеста.
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.
Достанет ли их вам для малого блаженства?
Не навсегда прошу - но лишь на миг, на миг.

1973

Ни слова о любви! Но я о ней ни слова,
не водятся давно в гортани соловьи.
Там пламя посреди пустого небосклона,
но даже в ночь луны ни слова о любви!

Луну над головой держать я притерпелась

для пущего труда, для возбужденья дум.
Но в нынешней луне - бессмысленная прелесть,
и стелется Арбат пустыней белых дюн.

Лепечет о любви сестра-поэт-певунья -
вполглаза покошусь и усмехнусь вполрта.
Но в нынешней луне - бессмысленная прелесть,
и стелется Арбат пустыней белых дюн.

Как зримо возведён из толщи полнолуныя
чертог для Божества, а дверь не заперта.

Как бедный Гоголь худ там, во главе бульвара,
и одинок вблизи вселенской полыньи.
Столь длительной луны над миром не бывало,
сейчас она пройдёт. Ни слова о любви!

Так долго я жила, что сердце притупилось,
но выжило в бою с невзгодой бытия,
и вновь свежим-свежа в нём чья-то власть и милость.
Те двое под луной - неужто ты и я?

1973

Я вас люблю, красавицы столетий,
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.

Ещё за то, что, стиснув створки сердца,
клад бытия не отдавал моллюск,
отдать и вынуть - вот простое средство
быть в жемчуге при свете бальных люстр.

Как будто мало ямба и хорея
ушло на ваши души и тела,
на каторге чужой любви старея,
о, сколько я стихов перевела!
Капризы ваши, шеи, губы, щёки,
смесь чудную коварства и проказ -

я всё воспела, мы теперь в расчёте,
последний раз благословляю вас!
Кто знал меня, тот знает, кто нимало
не знал - поверит, что я жизнь мою,
всю напролёт, навтыяжку стояла
пред женщиной, да и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места
не двинуться? Невмочь мне, говорю,
быть тем, что есть, и вожаком семейства,
вобравшего зверьё и детвору.

Довольно мне чудовищем бесполом
быть, другом, братом, сводником, сестрой,
то враждовать, то нежничать с глаголом,
пред тем, как стать травой и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,
подстрочников и прочего труда
я не хочу! Я делаюсь богата,
неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю, поступаясь талантом,
стать оборотнем с розовым зонтом,
с кисейным бантом и под ручку с франтом.
А что есть ямб - знать не хочу о том!

Лукавь, мой франт, опутывай, не мешкай!
Я скрою от незрячести твоей,
какой повадкой и какой усмешкой
владею я - я друг моих друзей.

Красавицы, ах, это всё неправда!
Я знаю вас - вы верите словам.
Неужто я покину вас на франта?
Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда, ступая, как летая,
проноситеесь, смеясь и лепеча.

**Суть женственности вечно золотая
всех, кто поэт, священная свеча.**

**Обзавестись бы вашими правами,
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?**

1973

Ночь перед выступлением

**Сегодня, покуда вы спали, надеюсь,
как всадник в дозоре, во тьму я глядела.
Я знала, что поздно, куда же я денусь
от смерти на сцене, от брэнного дела!**

**Безгрешно рукою водить вдоль бумаги.
Писать - это втайне молиться о ком-то.
Запеть напоказ - провиниться в обмане,
а мне не дано это и неохота.**

**И всё же для вас я удобство обмана.
Я знак, я намёк на былое, на Сороть,
как будто сохранны Марина и Анна
и нерасторжимы словесность и совесть.**

**В гортани моей, неумелой да чистой,
жил призыв старинного русского слова.
Я призрак двусмысленный и неказистый
поэтов, чья жизнь не затеется снова.**

**За это мне выпало нежности столько,
что будет смертельней, коль пуще и больше.
Сама по себе я немного стою.
Я старый глагол в современной обложке.**

**О, только за то, что душа не лукава
и бодрствует, благословляя и мучась,
не выбирая, где милость, где кара,**

на время мне посланы жизнь и живучесть.

Но что-то творится меж вами и мною,
меж мною и вами, меж всеми, кто живы.
Не проще ли нам обойтись тишиною,
чтоб губы остались свежи и не лживы?

Но коль невозможно, коль вам так угодно,
возьмите мой голос, мой голос последний!
Вовеки пребуду добра и свободна,
пока не уйду от вас сколько-то-летней...

1973

Марина - [М. Цветаева](#).

Анна - [А. Ахматова](#)

Так, значит, как вы делаете, други?
Пораньше встав, пока темно-светло,
открыв тетрадь, перо берёте в руки
и пишете? Как, только и всего?

Нет, у меня - всё хуже, всё иначе.
Свечу истрочу, взор сошлю в окно,
как второгодник, не решив задачи.
Меж тем в окне уже светло-темно.

Сначала - ночь отчаянья и бденья,
потом (вдруг нет?) - неуловимый звук.
Тут, впрочем, надо начинать с рожденья,
а мне сегодня лень и недосуг.

1973

Медлительность

Надежде Яковлевне Мандельштам *

Замечаю, что жизнь не прочна
и прервётся. Но как не заметить,
что не надо, пора не пришла
торопиться, есть время помедлить.

Прежде было - страшусь и спешу:

есмь сегодня, а буду ли снова?
И на казнь посылала свечу
ради тщетного смысла ночного.

Как умна - так никто не умён,
полагала. А снег осыпался.
И остался от этих времён
горб - натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им -
лишь скучая, но не сострадаю,
и прощу: тот, кто молод, - любим.
А тогда я была молодая.
Отбыла, отспешила. К душе
льнёт прилив незатейливых истин.
Способ совести избран уже
и теперь от меня не зависит.

Сам придёт этот миг или год:
смысл нечаянный, нега, вершинность...
Только старости недостаёт.
Остальное уже совершилось.

1972

Семья и быт

Ане

Сперва дитя явилось из потёмок
небытия.

В наш узкий круг щенок
был приглашен для счастья.

А котёнок
не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.
В миг волшебства сама зажглась свеча:

к нам шёл сверчок, влача нежнейший скрежет,
словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.
Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.
Где ты, грядущий новичок родимый?
Верти крылами! Убыстряй педаль!

Покуда вещи движутся в квартиры
по лестнице - мы отойдём и ждём.
Но всё ж и мы не так наги и сиры,
чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь вошедший!
Ты сам увидишь, как по вечерам
мы зажигаем наш фонарь волшебный.
О смех! О лай! О скрип! О тарарам!

Старейшина в беспечном хороводе,
вполне бесстрашном, если я жива,
проговорюсь моей ночной свободе,
как мне страшна забота старшинства.
Куда уйти? Уйду лицом в ладони.
Стареет пёс. Сиротствует тетрадь.
И лишь дитя, всё больше молодое,
всё больше хочет жить и сострадать.

Давно уже в ангине, только ожил
от жара лоб, так тихо, что почти -
подумало, дитя сказало: - Ёжик,
прости меня, за всё меня прости.

И впрямь - прости, любая жизнь живая!
Твою в упор глядящую звезду
не подведу: смертельно убывая,
вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.

Витает, вырастая, наша стая,
блистая правом жить и ликовать,

блаженность и блаженство сочетая,
и всё это приняв за благодать.

Сверчок и птица остаются дома.
Дитя, собака, бледный кот и я
идём во двор и там непревзойдённо
свершаем трюк на ярмарке житья.

Вкривь обходящим лужи и канавы,
несущим мысль про хлеб и молоко,
что нам пустей, что смехотворней славы?
Меж тем она даётся нам легко.

Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,
и все бегут с учений и работ,
нас осыпает золото улыбок
у станции метро «Аэропорт».

1968

Заклинание

Не плачьте обо мне - я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне - я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне - я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжея чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне - я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.

1968

Тоска по Лермонтову

О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твоё лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шёпоты твои
мне на ухо нашепчешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.

Лишь чёрный зонт в моих руках гремит.
Живой и мрачной силой он напрягся.
То, что тебя покинуть норовит, -
пускай покинет, что держать напрасно.
Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.

В чужом доме, не знаю почему,

я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом доме?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершён.
И я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок.
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба
и потому - с доверьем и тоскою -
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы - он и я -
живут тихонько, песенки слагая.

Итак - я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою - он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они всё там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.
О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь

ещё живёт всей свежестью размаха,
где малый камень с лёгкостью вместил
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моём мозгу и чернотой меж век,
всё плачущей над маленьким тобою?

И в этой, богом замкнутой судьбе,
в своей низжайшей муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл среди твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,
где - только-то! - через четыре года
сомкнётся над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасён уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней её сладчайшая суровость.
Зима на юге. Далеко зашло
её вниманье к моему побегу.
Мне - поделом. Но югу-то за что?
Он слишком юн, чтоб предаваться снегу.

Боюсь смотреть, как мучатся в саду
растений полумёртвые подранки.
Гнев севера меня имел в виду,
я изменила долгу северянки.

Что оставалось выдумать уму?

Сил не было иметь температуру,
которая бездомью моему
не даст погибнуть спьяну или сдуру.

Неосторожный беженец зимы,
под натиском её несправедливым,
я отступала в тёплый тыл земли,
пока земля не кончилась обрывом.

Прыжок мой, понукаемый бедой,
повис над морем - если море это:
волна, недавно бывшая водой,
имеет вид железного предмета.

Над розами творится суд в тиши,
мороз кончины им сулят прогнозы.
Не твой ли ямб, любовь моей души,
шалит, в морозы окуная розы?

Простите мне, теплицы красоты!
Я удалюсь и всё это улажу.
Зачем влекла я в чуждые сады
судьбы моей громоздкую поклажу?

Мой ад - при мне, я за собой тяну
суму своей печали неказистой,
так альпинист, взмывая в тишину,
с припасом суеты берёт транзистор.

И впрямь - так обнаглеть и занестись,
чтоб дисциплину климата нарушить!
Вернулась я, и обжигает кисть
обледеневшей варежки наручник.

Зима, меня на место водворив,
лишила юг опалы снегопада.
Сладчайшего цветения прилив
был возвращён воскресшим розам сада.

Январь со мной любезен, как весна.
Краса мурашек серебрит мне спину.
И, в сущности, я польщена весьма
влюблённостью зимы в мою ангину.
1968

Приключение в антикварном магазине

Зачем? - да так, как входят в глушь осин,
для тишины и праздности гулянья, -
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиквар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья,
он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрусталя больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,
и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нём с мгновенностью любви.
Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец, мудростью холодной,
вникал в значенье люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоска одной,
в былых балах утраченной подвески,
на грех её обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.

Отчаявшись, до крайности дойдя,

немое горло просьбу излучало.
Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли,
и тяжела была её ладони
вся невесомость быта и добра.

Какая грусть - среди сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье
чужих вещей, воспитанных при свете
огней угасших и минувших лиц.
И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха иль цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложенья, -
так требует предмет изображенья,
и ты бежишь, как верный пёс на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: - Спасите? - грянувший в ночи.
Я ринулась на зов, и для начала
сказала я: - Не плачь, моё дитя.

- Что вам угодно? - молвил антиквар. -
Здесь всё мертво и не способно к плачу. -
Он, всё ещё надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.

Сведённые враждой, плечом к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:
- Мне, ставшею открытой раной слуха,
угодно слышать всё, что я хочу.

- Ступайте прочь! - он гневно повторял.
И вдруг, среди слабоумия сомнений,

в уме моём сверкнул случайно гений
и выпалил: - Подайте тот футляр!

- Тот ларь? - Футляр. - Фонарь? - Футляр! - Фуляр?
- Помилуйте, футляр из чёрной кожи. -
Он бледен стал и закричал: - О боже?
Всё, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.

- Как это мило с вашей стороны, -
сказала я, - я не люблю пластмассы. -
Он мне польстил: - Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.

Я сам служу её календарю.
Вот медальон, и в нём портрет ребёнка.
Минувший век. Изящная работа.
И всё это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с личиком больным.
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
Гроза в июне. Воспаленье в лёгком.
И тьма небес, закрывшихся за ним...

- Мне горестей своих не занимать,
а вы хотите мне вручить причину
оплакивать всю жизнь его кончину
и в горе обезумевшую мать?

- Тогда сервиз на двадцать шесть персон! -
воскликнул он, надеждой озарённый. -
В нём сто предметов ценности огромной.
Берите даром - и вопрос решён.

- Какая щедрость и какой сюрприз!

Но двадцать пять моих гостей возможных
всегда в гостях, в бегах неосторожных.
Со мной одной соскучится сервиз.
Как сто предметов я могу развлечь?
Помилуй бог, мне не по силам это.
Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чём веду я речь.

- Как я устал! - промолвил антиквар. -
Мне двести лет. Моя душа истлела.
Берите всё! Мне всё осточертело!
Пусть всё моё теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльцо
из мглы сеней, на волю из темницы
явился свет и опалил ресницы,
и это было женское лицо.

Не по чертам его - по черноте,
ожёгшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
ещё до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз
- Я молод был сто тридцать лет назад, -
проговорился антиквар печальный. -
Сквозь зелень лип, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.

О, я любил её не первый год,
целуя воздух и каменья сада,
когда проездом - в ад или из ада -
вдруг объявился тот незванный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых.
Но я о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Всё вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.

Повеяло палёным и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.
Когда же вновь затеяли огонь,
склонившись к ней, переменившись разом,
он всем опасным африканским рабством
потупился, как укрощённый конь.

Я ей шепнул: - Позвольте, он урод.
Хоть ростом скромн, и на том спасибо.
- Вы думаете? - так она спросила. -
Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостил, - весь кротость, доброта, -
любой совет считал себе приказом.
А уезжая, вольно пыхнул глазом
и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намёк
в лице её, в его простом порядке.
Над непосильным подвигом разгадки
трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла
всплывала в ней незрячая улыбка,
она пугалась, будто бы ошибка
лицом её допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ.
Я сватался. Она мне отказала.
Не изменив намерений нимало,
я сватался второй и третий раз.

**В столетье том, в тридцать седьмом году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.
Бессмертным став от горя и любви,
я ведаю этим ничтожным храмом,
толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж богом и людьми.**

**Но я утешен мнением молвы,
что всё-таки убит он на дуэли.
- Он не убит, а вы мне надоели, -
сказала я, - хоть не виновны вы.**

**Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне - суть предмета, вам - краса портрета:
в награду, в месть, в угоду, вопреки.**

**Старик спросил: - Я вас не вверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
- Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов,
сказала я, - мне лишь его и жаль.**

**А если вдруг, вкусивший всех наук,
читатель мой заметит справедливо:
- Всё это ложь, изложенная длинно, -
Отвечу я: - Конечно, ложь, мой друг.**

**Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.**

**Но нет, портрет живёт в моём дому!
И звон стекла! И лепет тувель бальных!
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
к сему причастен - судя по всему.**

1968

Описание обеда

Как долго я не высыпалась,
писала медленно, да зря.
Прощай, моя высокопарность!
Привет, любезные друзья!

Да здравствует любовь и лёгкость!
А то всю ночь в дыму сижу,
и тяжело тащится мой локоть,
строку влача, словно баржу.

А утром, свет опережая,
всплывает в глубине окна
лицо моё, словно чужая
предсмертно белая луна.

Не мил мне чистый снег на крышах,
мне тяжело моё чело,
и всё за тем, чтоб вещей критик
не понял в этом ничего.

Ну нет, теперь беру тетрадку
и, выбравши любой предлог,
описываю по порядку
всё, что мне в голову придёт.

Я пред бумагой не робею
и опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед.

Он обещал мне, что наука,
известная его уму,
откроет мне, какая мука
угодна сердцу моему.

С улыбкой грусти и привета

открыла дверь в тепло и свет
жена литературоведа,
сама литературовед.

Пока с меня пальто снимала
их просвещённая семья,
ждала я знака и сигнала,
чтобы понять, при чём здесь я.

Но, размышляя мимолётно,
я поняла мою вину:
что ж за обед без рифмоплёта
и мебели под старину?

Всё так и было: стол накрытый
дышал свечами, цвёл паркет,
и чужеземец именитый
молчал, покуривая «кент».

Литературой мы дышали,
когда хозяин вёл нас в зал
и говорил о Мандельштаме.
Цветаеву он также знал.

Он оценил их одарённость,
и, некрасива, но умна,
познаний тяжкую огромность
делила с ним его жена.

Я думала: Господь вседобрый!
Прости мне разум, полный тьмы,
вели, чтобы соблазн съедобный
отвлёк от мыслей их умы.

Скажи им, что пора обедать,
вели им хоть на час забыть
о том, чем им так сладко ведать,
о том, чем мне так страшно быть.

**В прощенье мне теплом собрата
повеяло, и со двора
вошла прекрасная собака
с душой, исполненной добра.**

**Затем мы занялись обедом.
Я и хозяин пили ром, -
нет, я пила, он этим ведал, -
и всё же разразился гром.**

**Он знал: коль ложь не бестолкова,
она не осквернит уста,
я знала: за лукавство слова
наказывает немота.**

**Он, сокрушаясь бесполезно,
стал разум мой учить уму,
и я ответила любезно:
- Потом, мой друг, когда умру...**

**Мы помирились в воскресенье.
- У нас обед. А что у вас?
- А у меня стихотворенье.
Оно написано как раз.**

1967

**Так дурно жить, как я вчера жила, -
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу
и пошлости нетрезвая жара
свистит в мозгу по замкнутому кругу.**

**Чудовищем ручным в чужих домах
нести две влажных черноты в глазницах
и пребывать не сведеньем в умах,
а вожделенной притчей во языцех.**

**Довольствоваться роскошью беды -
в азартном и злорадном нераденье**

следить за увяданием звезды,
втемяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,
понурить шею среди пекл безводных,
от скудных скверов отвращать лицо,
не смея быть при детях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:
без тех, без лучших, мыкалась по свету,
а без себя? Не велика печаль!
Уж не копить ли драгоценность эту?
Дразнить плащом горячий гнев машин
и снова выжить, как это ни сложно,
под доблестной защитой мужчин,
что и в невесты брать неосторожно.

Всем лицемерьем искушать беду,
но хитрой слепотою дальновидной
надеяться, что будет ночь в саду
опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,
чьей выгоде моё спасенье сладко,
коль мне дано по окончанье дня
стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река
готовы выдать тайну вековую,
и с первобытной меткостью рука
привносит пламя в мёртвость восковую.

Подобострастный бег карандаша
спешит служить и жертвовать длиною.
И так чиста суровая душа,
словно сейчас излучена луною.
Терзая зреньем небо и леса,
всему чужой, иноязычный идол,
царю во тьме огромностью лица,

которого никто другой не видел.

Пред днём былым не ведаю стыда,
пред новым днём не знаю сожаленья
и медленно стираю прядь со лба
для пушего удобства размышленья.

1967

Я думаю: как я была глупа,
когда стыдилась собственного лба -
зачем он так от гения свободен?
Сегодня, став взрослее и трезвей,
хочу обедать посреди друзей -
лишь их привет мне сладок и угоден.
Мне снился сон: я мучаюсь и мчусь,
лицейскою возвышенностью чувств
пылает мозг в честь праздника простого.
Друзья мои, что так добры ко мне,
должны собраться в маленьком кафе
на площади Восстанья в полшестого.
Я прихожу и вижу: собрались.
Благословляя красоту их лиц,
плач нежности стоит в моей гортани.
Как встарь, моя кружится голова.
Как встарь, звучат прекрасные слова
и пенье очарованной гитары.
Я просыпаюсь и спешу в кафе,
я оставляю шапку в рукаве,
не ведая сомнения пустого.
Я твёрдо помню мой недавний сон
и стол прошу накрыть на пять персон
на площади Восстанья в полшестого.
Я долго жду и вижу жизнь людей,
которую прибоем площадей
выносит вдруг на мой пустынный остров.
Так мне пришлось присвоить новость встреч,
чужие тайны и чужую речь,
борьбу локтей неведомых и острых.
Вошёл убийца в сером пиджаке.

Убитый им сидел невдалеке.
Я наблюдала странность их общенья.
Промолвил первый:
- Вот моя рука,
но всё ж не пейте столько коньяка. -
И встал второй и попросил прощенья.
Я у того, кто встал, спросила:
- Вы
однажды не сносили головы,
неужто с вами что-нибудь случится? -
Он мне сказал:
- Я узник прежних уз.
Дитя моё, я, как тогда, боюсь -
не я ему, он мне ночами снится.

Я поняла: я быть одна боюсь.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.
Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,
заточена, словно мигрень во лбу.
Друзья мои, я требую пощады!

И всё ж, пока слагать стихи смогу,
я вот как вам солгу иль не солгу:
они пришли, не ожидая зова,
сказали мне: - Спешат твои часы. -
И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.

1967

Друзья мои, прекрасен наш союз! - строчка из
стихотворения [Пушкина](#)

[Варфоломеевская ночь](#)

Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рождённое вблизи кровопролитья.

**В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
ещё не гугенот и не католик.**

**Ещё птенец, едва поющий вздор,
ещё в ходьбе не сведущий козлёнок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казнённых.
Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дита твоё цветочным млеком мёда,
в его опрятной маленькой крови
живёт глоток чужого кислорода.**

**Он лакомка, он хочет пить ещё,
не знает организм непросвещённый,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресечённой.**

**Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далёких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для лёгких.
Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.**

**Когда глаза откроются - смотреть,
какой судьбою в нём взойдёт отравы?
Отрадой - умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?**

**Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.**

И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь - малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая, -
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объяснённой в нотах.

А в общем-то - какие пустяки!

Всего лишь - тридцать тысяч гугенотов.

1967

За то, что девочка Настасья
добро чужое стерегла,
босая бегала в ненастье
за водкою для старика, -
ей полагался бог красивый
в чертоге, солнцем залитом,
щеголеватый, справедливый,
в старинном платье золотом.
Но посреди хмельной икоты,
среди убожества всего
две почерневшие иконы
не походили на него.

За это вдруг расцвёл цикорий,
порозовели жемчуга,
и раздалось, как хор церковный,
простое имя жениха.

Он разом вырос у забора,

поднёс ей жёлтый медальон
и так вполне сошёл за бога
в своём величье молодом.

И в сердце было свято-свято
от той гармошки гулевой,
от вин, от сладкогласья свата
и от рубашки голубой.

А он уже глядел обманно,
платочек газовый снимал
и у соседнего амбара
ей плечи слабые сминал...

А Настя волос причесала,
взяла платок за два конца,
а Настя пела, причитала,
держала руки у лица.

«Ах, что со мной ты понаделал,
какой беды понатворил!
Зачем ты в прошлый понедельник
мне белый розан подарил?

Ах, верба, верба, моя верба,
не вянь ты, верба, погоди!
Куда девалась моя вера -
остался крестик на груди».

А дождик солнышком сменялся,
и не случилось ничего,
и бог над девочкой смеялся,
и вовсе не было его.

?

[Дачный роман](#)

Вот вам роман из жизни дачной.
Он начинался в октябре,

когда зимы кристалл невзрачный
мерцал при утренней заре.
И тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
был зренья моего добычей
и пленником души моей.

Недавно, добрый и почтенный,
сосед мой умер, и вдова,
для совершенья жизни брэнной,
уехала, а дом сдала.
Так появились брат с сестрою.
По вечерам в чужом окне
сияла кроткою звездою
их жизнь, неведомая мне.

В благовоспитанном соседстве
поврозь мы дождались зимы,
но, с тайным любопытством в сердце,
невольню сообщались мы.
Когда вблизи моей тетради
встречались солнце и сосна,
тропинкой, скрытой в снегопаде,
спешила к станции сестра.
Я полюбила тратить зренье
на этот мимолётный бег,
и длилась целое мгновенье
улыбка, свежая, как снег.
Брат был свободен и не должен
вставать, пока не встанет день.
Кто он? - я думала. - Художник.
А думать дальше было лень.
Всю зиму я жила привычкой
их лица видеть поутру
и знать, с какою электричкой
брат пустится встречать сестру.
Я наблюдала их проказы,
снежки, огни, когда темно,
и знала, что они прекрасны,

а кто они - не всё ль равно?
Я вглядывалась в них так остро,
как в глушь иноязычных книг,
и слаще явного знакомства
мне были вымыслы о них.
Их дней цветущие картины
растила я меж сонных век,
сослав их образы в куртины,
в заглохший сад, в старинный снег.

Весной мы сблизились - не тесно,
не учатив случайность встреч.
Их лица были так чудесно
ясны, так благородна речь.
Мы сживали в час заката
в саду, где липа и скамья.
Брат без сестры, сестра без брата,
как ими любовалась я!
Я шла домой и до рассвета
зрачок держала на луне.

Когда бы не несчастье это,
была б несчастна я вполне.

Тёк август. Двум моим соседям
прискучила его жара.
Пришли, и молвил брат: - Мы едем.
- Мы едем, - молвила сестра.
Простились мы - скорей степенно,
чем пылко. Выпили вина.
Они уехали. Стемнело.
Их ключ остался у меня.

Затем пришло письмо от брата:
Коли прогневаются Вы,
я не страшусь, мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.
Зачем, простак недалёковидный,
я тронул на снегу Ваш след

Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился - еле видный,
доныне излучает свет
ладонь... - с печалью деловитой
я поняла, что он - поэт,
и заскучала...
Тем не мене
отвыкшие скрипеть ступени
я поступью моей бужу,
когда в соседний дом хожу,
одна играю в свет и тени
и для таинственной затеи
часы зачем-то завожу
и долго за полночь сижу.
Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе
зайдётся ставня. Видно мне,
как ум забытой ими книги
печально светится во тьме.
Уж осень. Разве осень? Осень.
Вот свет. Вот сумерки легли.
- Но где ж роман, - читатель спросит. -
Здесь нет героя, нет любви!

Меж тем - всё есть! Окрест крепчает
октябрь, и это означает,
что тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
идёт дорогою обычной
на жадный зов свечи моей.
Сад облетает первобытный,
и от любви кровопролитной
немееет сердце, и в костры
сгребают листья... Брат сестры,
прощай навеки! Ночью лунной
другой возлюбленный безумный,
чья поступь молодому льду
не тяжела, минует тьму
и к моему подходит дому.
Уж если говорить люблю! -

то, разумеется, ему,
а не кому-нибудь другому.
Очнись, читатель любопытный!
Вскричи: - Как, намертво убитый
и прочный, точно лунный свет,
тебя он любит! -
Вовсе нет.
Хочу соврать и не совру,
как ни мучительна мне правда.
Боюсь, что он влюблѐн в сестру
стихи слагающего брата.
Я влюблена, она любима,
вот вам сюжета грозный крен.
Ах, я не зря её ловила
на робком сходстве с Анной Керн!
В час грустных наших посиделок
твержу ему: - Тебя злодей
убил! Ты заново содеян
из жизни, из любви моей!
Коль ты таков - во мглу веков
назад сошлю!
Не отвечает
и думает: - Она стихов
не пишет часом - и скучает.

Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.

1966

[Немота](#)

Кто же был так силѐн и умѐн?
Кто мой голос из горла увѐл?
Не умеет заплакать о нём
рана чѐрная в горле моём.

Сколь достойны любви и хвалы,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады - словари.

- О, воспой! - умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Задыхаюсь, идохну, и лгу,
что ещё не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Вдохновенье - чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасёт её выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Облегчить переполненный пульс -
как угодно, нечаянно, пусть!
И во всё, что воспеть тороплюсь,
воплещусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла,
сами, сами воспойте меня.

1966

Другое

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжёлую в моих губах имею?

**Вы скажете - но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.**

**Порядок этот ведает рука.
Я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило - не строка -
другое что-то. Только что? - забыла.**

**Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?
1966**

Плохая весна

**Пока клялись беспечные снега
блистать и стыть с прилежностью металла,
пока пуховой шали не сняла
та девочка, которая мечтала
склонить к плечу оранжевый берет,**

**пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее,
пока апрель не затевал возни,
угодной насекомым и растеньям, -
взяв на себя несчастный труд весны,
безумцем становился неврастеник.**

**Среди гардин зимы, среди гордынь
сугробов, ледоколов, конькобежцев
он гнев весны претерпевал один,
став жертвою её причуд и бешенств.**

**Он так поспешно окна открывал,
как будто смерть предпочитал неволе,**

как будто бинт от кожи отрывал,
не устояв перед соблазном боли.
Что было с ним, сорвавшем жалюзи?
То ль сильный дух велел искать исхода,
то ль слабость щитовидной железы
выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды
владеют им. Но говорят преданья,
что, ринувшись на поиски беды, -
как выгоды, он возжелал страданья.
Он закричал: - Грешна моя судьба!
Не гений я! И, стало быть, впустую,
гордясь огромной выпуклостью лба,
лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.
Он говорил в отчаянной отваге:
- О господи! Твой худший ученик -
я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.
Он всё отринул, что грозит блаженством.
Желал он мукой обострить свой ум,
побрезговав его несовершенством.
В груди птенцы пищали: не хотим!
Гнушаясь их красою бесполезной,
вбивал он алкоголь и никотин
в их слабый зёв, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,
сказав: - Как страшно просыпаться утром!
Как жжётся этот раскалённый ад,
который именуется уютом!

Он жил в чужом доме, в чужом саду,
и тем платил хозяйке любопытной,
что, голый и огромный, на виду
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,
шептались меж собой, но не корили
затем, что жутким будням их бытъя
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,
то пил коньяк в гостиных полусвета
и понимал, что это - гонорар
за представленье: странности поэта.
Ему за то и подают обед,
который он с охотою съедает,
что гостья, умница, искусствоведа,
имеет право молвить: - Он страдает!

И он страдал. Об остриё угла
разбил он лоб, казня его ничтожность,
но не обрёл достоинства ума
и не изведал истин непреложность.
Проснувшись ночью в серых простынях,
он клял дурного мозга неприличье,
и высоко над ним плыл Пастернак
в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отвёрг упрёк
в проступке суеты и нетерпенья.
Виновен ли немой, что он не мог
использовать гортань для песнопенья?

Его встречали в чайных и пивных,
на площадях и на скамьях вокзала.
И, наконец, он головой поник
и так сказал (вернее, я сказала):
- Друзья мои, мне минет тридцать лет,
увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
и суд мой над собою безрассуден.
Бог точно знал, кому какая честь,
мне лишь одна, не много и не мало:

всегда пребуду только тем, что есть,
пока не стану тем, чего не стало.
Так в чём же смысл и польза этих мук,
привнёсших в кожу белый шрам ожога?
Уверен в том, что мимолётный звук
мне явится, и я скажу: так много?
Затем свечу зажгу, перо возьму,
судьбе моей воздам благодаренье,
припомню эту бедную весну
и напишу о ней стихотворенье.

1966

Зимняя замкнутость

Булату Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занёс мою крышу ещё в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в янтаре
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например - я зерно моим птицам несла.
«Можно ль выйти наружу?» - спросила. «Нельзя», -
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый гость.
Он прошёл через стенку насквозь, словно гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же ещё оставалось ему,
коль в дому, замурованном в снежную тьму,
не осталось для входа ни двери, ни щели.

Странный гость - он в гостях не гостил, а царил.
Он огнём исцелил свой промокший цилиндр,
из-за пазухи выпустил свинку морскую
и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом

я ушибся, когда проходил напролом
в этот дом, где теперь простудиться рискую».

Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.
Горсть орехов, вина быстротечная гроздь -
вот мой маленький юг среди вьюг справедливых.
Что касается бедной царевны морей -
ей давно приготовлен любовью моей
плод капусты, возвращённый в нездешних заливах».

Странный гость похвалился: «Заметьте, мадам,
что я склонен к слезам, но не склонны к следам
мои ноги промокшие. Весь я - загадка!»
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: «Мне не нравится тон
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!
Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба».
Я спросила его: «Почему вы не пьёте?»

Странный гость не побрезговал выпить вина.
Опрометчивость уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:
«Протяжение спора угодно душе!
Вы - дитя моё, баловень и протезе.
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.

Ведь не зря вещей зверь чистой шерстью белел -
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!»
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злему сиротству сестра?

Как остра эта грусть - озираться со сна
среди стихии чужой, а к своей не пробиться.
О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренье провидца.

В остальном - благодарна я доброй судьбе.
Я живу, как желаю, - сама по себе.
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пёс мой взмывает к щеке, как щенок.
И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась - а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моём разуме свищет».

Странный гость засмеялся. Он знал, что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьёт в Ленинграде.
И давно уж собака моя умерла -
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: «Вы несчастны теперь».
В это время открылась закрытая дверь.
Снег всё падал и падал, не зная убытка.
Сколь вошедшего облик был смел и пригож!
И влекла петербургская кожа калош
след - лукавый и резвый, как будто улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймёт и зачтёт,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин!
Я подумала - скоро конец февралю -
и сказала вошедшему: «Радость! Люблю!

Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!»

1965

Ночь

Андрею Смирнову

**Уже рассвет темнеет с трёх сторон,
а всё руке недостает отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.**

**Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затянуть ямб в беспечности былой!**

**Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.**

**Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он всё ж не счёл достоинством своим.**

**Ужель грешно своей беды не знать!
Соблазн так сладок, так невинна малость -
нарушить этой ночи безымянность
и всё, что в ней, по имени назвать.
Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством женским,
красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.**

**Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и клянчит голосок предмета,**

его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет её предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль - под пыткой немоты
всё ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом дому, средь снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо -
про дом, про снег, про синеву окна?
Не дай мне бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.

1965

Описание ночи

Глубокий плюш казённого Эдема,
развязный грешник, я взяла себе
и хищно и неопытно владела
углом стола и лампой на столе.
На каторге таинственного дела
о вечности радел петух в селе,
и, пристальная, как монгол в седле,
всю эту ночь я за столом сидела.

Всю ночь в природе длился плач раздора
между луной и душами зверей,
впадали в длинный воздух коридора,
исторгнутые множеством дверей,
течения полуночного вздора,

что спит в умах людей и словарей,
и пререкались дактиль и хорей -
кто домовой и правит бредом дома.

Всяк спящий в доме был чему-то автор,
но ослабел для совершенья сна,
из глуби лбов, как из отверстых амфор,
рассеивалась спёртость ремесла.
Обожествляла влюбчивость метафор
простых вещей невзрачные тела.
И постояльца прежнего звала
его тоска, дичавшая за шкафом.

В чём важный смысл чудовищной затеи:
вникать в значенье света на столе,
участвовать, словно в насущном деле,
в судьбе светил, играющих в окне,
и выдержать такую силу в теле,
что тень его внушила шрам стене!
Не знаю. Но ещё зачтётся мне
бесславный подвиг сотворенья тени.
1965

Слово

«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна», -
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потёмках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь - в Перми живёт ребёнок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью. И когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребёнок это слово говорит.

Как говорит ребёнок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
гортани, погружённой в темноту,
была такая чистота проёма,
чтоб уместить во всей красе объёма
всезнающего слова полноту?

О нет, во мне - то всхлип, то хрип, и снова
насущенный шум, занявший место слова
там, в лёгких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю - и обагрю платок.
В безмолвии, как в землю, погребённой,
мне странно знать, что есть в Перми ребёнок,
который слово выговорить мог.

1965

Андрею Вознесенскому

Ремесло наши души свело,
заклеймило звездой голубою.
Я любила значенье своё
лишь в связи и в соседстве с тобою.

Несказанно была хороша
только тем, что в первейшем сиротстве
бескорыстно умела душа

хлопотать о твоём превосходстве.

Про чело говорила твоё:

- Я видала сама, как дымилось
меж бровей золотое тавро,
чьё значенье - всевышняя милость.

А про лоб, что взошёл надо мной,
говорила: не будет он лучшим!
Не долеплен до пяди седьмой
и до пряди седой не доучен.

Но в одном я тебя превзойду,
пересилю и перелукавлю!
В час расплаты за божью звезду
я спрошу себе первую кару.

Осмелею и выпячу лоб,
похваляясь: мой дар - безусловен,
а второй - он не то, чтобы плох,
он - меньшей, он ни в чём не виновен.

Так положено мне по уму.
Так исполнено будет судьбою.
Хвораю, что ли, - третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
Только вот что. Когда я умру,
страшно думать, что будет с тобою.

1965

Озноб

и тот вскричал:

- Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Станный ваш недуг

колеблет стены и сквозит повсюду.
Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:

- Я дрожу
всё более - без умысла худого.
А впрочем, передайте этажу,
что вечером я ухожу из дома.
Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой приплясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролёт,
следил за мной брезгливо, но без фальши.
Его я обнадёжила:

- Пролог
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала, взглядом скорбным,
мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.

Всё тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.
Так по осине ударяет дождь,
наказывая все её листочки.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и резвятся!
Моё же тело, свергнув власть мою,
ведёт себя свободно и развязно.

Оно всё дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

**Всё это мне не нравилось.
Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
- Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.
Врач объяснил:
- Ваша болезнь проста.
Она была б и вовсе безобидна,
но ваших колебаний частота
препятствует осмотру - вас не видно.**

**Вот так, когда вибрирует предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведён на нет
и выглядит, как слабая туманность.**

**Врач подключил свой золотой прибор
к моим предметам неопределённым,
и острый электрический прибор
охладил меня огнём зелёным.**

**И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск стекла,
и кровь из пальцев высекли осколки.**

**Встревожься, добрый доктор, оглянись!
Но он, не озадаченный нимало,
провозгласил:
- Ваш бедный организм
сейчас функционирует нормально.**

**Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность к этой высшей норме.
Не уместаясь в узости ума,
плыл надо мной её чрезмерный номер.
И, многозначной цифрою мытарств
наученная, нервная система,**

пробившись, как пружины сквозь матрац,
рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к черту! Пусть
им захлебнусь, как Петербург Невую!

А по ночам - мозг наострится, ждёт.
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
что скрипнет дверь иль книга упадёт,
и - взрыв! и - всё! и - кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселённых, жрущих кровь из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я - всё собою портила! Я - рай
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и с мудростью, цветущей в человеке,
как музыку по нотным запятым,
её читала девушка в аптеке.
И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,
и медицина мятным языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровленьем
через своих детей и, говорят,
хвалил меня пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,

особо, с пользой делая круги.
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня - ни звука, ни души.
И стол мой умер и под пылью скрылся.
Уставили во тьму карандаши
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побеждённого коня,
мой каждый шаг медлителен, стреножен.
Всё хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач ещё меня не уличил,
но зря ему я голову морочу,
ведь всё, что он лелеял и лечил,
я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.

О звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалея,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я - балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!

Пока ещё я не дрожу, о, нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предусмотрительный сосед
уже со мною холоден при встрече.

День поэзии

Какой безумец празднество затеял
и щедро Днём поэзии нарёк?
По той дороге, где мой след затерян,
стекается на празднество народ.

О славный день, твои гуляки буйны.
И на себя их смелость не беру.
Ты для меня - торжественные будни.
Не пировать мне на твоём пиру.

А в публике - доверье и смущенье.
Как добрая душа её проста.
Великого и малого смешенье
не различает эта доброта.

Пока дурачит слух её невежда,
пока никто не видит в этом зла,
мне остаётся смутная надежда,
что праздники случаются не зря.

Не зря слова поэтов осеняют,
не зря, когда звучат их голоса,
у мальчиков и девочек сияют
восторгом и неведеньем глаза.
?

Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растенья,
не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до рожденья.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный бог,
имевший цель улыбки и приветя.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка бога,
что прядь со лба - чтоб легче целовать -
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как мука велика
за дверью моего уединенья.

1964

Уроки музыки

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, - как меня, -
озябшею гортанью
не говорю: тебя - как свет! как снег! -
усильем шеи, будто лёд глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)

Не ладили две равных темноты:

рояль и ты - два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты - две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.

Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до диез
мизинец свой не окунёт союзник.

А ты - одна. Тебе - подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука -
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотечение звука.
Марина, до! До - детства, до - судьбы,
до - ре, до - речи, до - всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, -
о карусель и Гедике ненужность! -
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.

Марина, это всё - для красоты
придумано, в расчёте на удачу
раз накричаться: я - как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да - плачу.
Октябрь 1963

В той тоске, на какую способен
человек, озираясь с утра
в понедельник, зимою
спросонок,
в том же месте судьбы,

что вчера...

Он-то думал,
что некий гроссмейстер,
населивший пустой небосвод,
его спящую душу заметит
и спасительно двинет вперёд.

Но сторонняя мощь
сновидений,
ход светил и раздор государств
не внесли никаких изменений
в череду его скудных мытарств.

Отхлебнув молока из бутылки,
он способствует этим тому,
что, болевшая ночью в затылке,
мысль нужды приливает к уму.

Так зачем над его колыбелью,
прежде матери, прежде отца,
оснащённый звездой
и свирелью,
кто-то был и касался лица?
Чиркнул быстрым ожогом
над бровью,
улыбнулся и скрылся вдали.
Прибежали на крик
к изголовью -
и почтительно прочь отошли.

В понедельник,
в потёмках рассвета,
лбом уставясь в осколок стекла,
видит он, что алмазная мета
зажила и быльём поросла.

...В той великой,
с которою слада

не бывает, в тоске - на века,
я брела в направленье детсада
и дитя за собою влекла.

Розовело во мгле небосвода.
Возжигатель грядущего дня,
вождь метели,
 зачинщик восхода,
что за дело тебе до меня?

Мне ответствовал
 свет безмятежный
и указывал свет или смех,
что ещё молодою и нежной
я ступлю на блистающий снег,

что вблизи, за углом поворота,
ждёт меня несказанный удел.
Полыхнуло во лбу моём что-то,
и прохожий мне вслед поглядел.
?

Жила в позоре окаянном,
а всё ж душа - белым-бела,
и если кто-то океаном
и был - то это я была.

О, мой купальщик боязливый,
ты б сам не выплыл - это я
волною нежной и брезгливой
на берег вынесла тебя.

Что я наделала с тобою!
Как позабыла в той беде,
что стал ты рыбой голубою,

взлелеянной в моей воде!

**И повторяют вслед за мною,
и причитают все моря:
о ты, дитя моё родное,
о бедное, прости меня!**

1961

**О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.
Как долго я играла роль,
не опираясь на партнёра!**

**К проклятой помощи твоей
я не прибегнула ни разу.
Среди кулис, среди теней
ты спасся, незаметный глазу.**

**Но в этом сраме и бреду
я шла перед публикой жестокой -
всё на беду, всё на виду,
всё в этой роли одинокой.**

**О, как ты гоготал, партер!
Ты не прощал мне очевидность
бесстыжую моих потерь,
моей улыбки безобидность.**

**И жадно шли твои стада
напиться из моей печали.
Одна, одна - среди стыда
стою с упавшими плечами.**

**Но опрометчивой толпе
герой действительный не виден.
Герой, как боязно тебе!
Не бойся, я тебя не выдам.
Вся наша роль - моя лишь роль.
Я проиграла в ней жестоко.**

Вся наша боль - моя лишь боль.
Но сколько боли. Сколько. Сколько.
1961

Пейзаж

Ещё ноябрь, а благодать
уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседая,
по снегу белому иду.

1960

Сон

Наскучило уже, да и некстати
о знаменитом друге рассуждать.
Не проще ль в деревенской благодати
бесхитростно писать слова в тетрадь -

при бабочках и при окне открытом,
пока темно и дети спать легли...
О чём, бишь? Да о друге знаменитом,
Свирепей дружбы в мире нет любви.

Весь вечер спор, а вам ещё не вдоволь,
и всё о нём и всё в укор ему.
Любовь моя - вот мой туманный довод.
Я не учёна вашему уму.

Когда б досель была я молодая,

всё б спорила до расцветанья щёк.
А слава что? Она - молва худая,
но это тем, кто славен, не упрёк.

О грешной славе рассуждайте сами,
а я ленюсь, я молча посижу.
Но, чтоб вовек не согласиться с вами,
что сделать мне? Я сон вам расскажу.

Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
приснилось мне, что входит мой приятель
и говорит: - Страшись. Дурная весть.

- О нём? - О нём. - И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: - Он умер.
А ты держись. Иди к его жене. -

Глаза жены серебряного цвета:
зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
мой смертный крик вознёсся над землей.

Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошёл, а я ещё кричала.
Проходит жизнь, а я ещё кричу.
О, пусть моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву -
не дай мне бог моих друзей оплакать!
Всё остальное я переживу.

Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив - и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

1960

Свеча

Геннадию Шпаликову

Всего-то - чтоб была свеча,
Свеча простая, восковая,
И старомодность вековая
Так станет в памяти свежа.

И поспешит твоё перо
К той грамоте витиеватой,
Разумной и замысловатой,
И ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
Всё чаще, способом старинным,
И сталактитом стеаринным
Займёшься с нежностью в глазах.
И Пушкин ласково глядит,
И ночь прошла, и гаснут свечи,
И нежный вкус родимой речи
Так чисто губы холодит.

1960

Апрель

Вот девочки - им хочется любви.
Вот мальчики - им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,
так ищешь ты к себе расположенья,
так ты бываешь щедр на одолженья,
к амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,
приблизिшь ты любое отдаленье,
безумному даруешь просветленье
и исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь - медлю я с ответом
и свет гашу, и в комнате темно.

1960

Прощание

А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? - ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? - ты погубил,
но погубил так неумело.
Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело
и бродит, видит белый свет,
но тело моё опустело.

Работу малую висок
ещё вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

1960

Подражание

Грядущий день намечен был вчерне,
насущный день так подходил для пенья,
и четверо, достойных удивленья,
гребцов со мною плыли на челне.
На ненаглядность этих четверых
всё бы глядела до скончанья взгляда,
и ни о чём заботиться не надо:
душа вздохнёт - и слово сотворит.

Нас пощадили небо и вода,
и, уцелев меж бездною и бездной,
для совершенья распри бесполезной
поплыли мы, не ведая - куда.
В молчании достигли мы земли,
до времени сохранные от смерти.
Но что-нибудь да умерло на свете,
когда на берег мы поврозь сошли.

Твои гребцы погибли, Арион.
Мои спаслись от этой лютой доли.
Но лоб склоню - и опалит ладони
сиротства высочайший ореол.

Всех вместе жаль, а на меня одну -
пускай падут и буря, и лавина.
Я дивным пеньем не прельщу дельфина
и для спасенья уст не разомкну.

Зачем? Без них - ненужно меня.
И проку нет в упрёках и обмолвках.
Жаль - чёлн погиб, и лишь в его обломках
нерасторжимы наши имена.

1960-е

Арион - см. стихотворение [Пушкина «Арион»](#)

Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажжённые для сотворенья речи, -
без них я не желала умирать.

Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.

**А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.**

**Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
всё прочее - блаженством я зову.**

1960-е

**По улице моей который год
звучат шаги - мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.**

**Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.**

**Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.**

**О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.**

**Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.
Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.**

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и - мудрая - я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда - из слёз, из темноты,
из бедного невежества бывшего
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

1959

Твой дом

Твой дом, не ведая беды,
меня встречал и в щёку чмокал.
Как будто рыба из воды,
сервиз выглядывал из стёкол.

И пёс выскакивал ко мне,
как галка маленький, орущий,
и в беззащитном всеоружьи
торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли
я шла озябшим делегатом,
и дом смотрел в глаза мои
и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда
он не навлёк, себя не выдал.
Дом клялся мне, что никогда
он этой женщины не видел.

Он говорил: - Я пуст, Я пуст. -

Я говорила: - Где-то, где-то... -
Он говорил: - И пусть. И пусть.
Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва
платка или иной приметы,
но дом твердил свои слова,
перетасовывал предметы.

Он заметал её следы.
О, как он притворился ловко,
что здесь не падало слезы,
не облакачивалось локтя.

Как будто тщательный прибор
смыл всё: и туфель отпечатки,
и тот пустующий прибор,
и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пёс забыл,
с кем он играл, и гвоздик малый
не ведал, кто его забил,
и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,
как будто выпал снег и стоял.
Припомнить не могли цветы,
кто их в стакан гранёный ставил...

О дом чужой! О милый дом!
Прощай! Прошу тебя о малом:
не будь так добр. Не будь так добр.
Не утешай меня обманом.

1959

Влечёт меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

**Вскричать: «Полцарства за коня!» -
какая вспылчивость и щедрость!
Но снизойдёт и на меня
последнего задора тщетность.**

**Когда-нибудь очнусь во мгле,
навек проиграв сражение,
и вот придёт на память мне
безумца древнего решенье.**

**О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,**

**любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой,
конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю - и табун родимый**

**нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.**

**Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.
1959**

**В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость
и, расстилаясь над землёй,
влекла меня погоды лётность.**

Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава Богу, стал мой взор
и пронизательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлёт
обходится мне всё дороже.

И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над чёрным снегом нависая,
как скушно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегают дитя
и нарушает их порядок.

1959

Август

Так щедро август звёзды расточал.
Он так бездумно приступал к владенью,
и обращались лица ростовчан
и всех южан - навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.
Так падали мне на плечи созвездья,
как падают в заброшенном саду
сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,
соседей наших клавиши сердили,
к старинному роялю музыкант
склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.
О, можно было инструмент расстроить,
но твоего созвучия со мной
нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,
так недалёко звёзды пролегали,
бульварами шагали моряки,
и девушки в косынках пробегали.

Всё то же там паденье звёзд и зной,
всё так же побережье неизменно.
Лишь выпали из музыки одной
две ноты, взятые одновременно.

1958

Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них. Я о печальной
неведомой собаке их.

Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога -
как их раздумья глубоки.

То добрый пёс. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела,

и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,
всё различавший в тишине,
пёс умудрённый семилетний
сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.

Зовётся Тошкой пёс. Ах, Тошка,
ты понимаешь всё. Ответь,
что так мне совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?

Всё тонкий нюх твой различает,
угадывает наперёд.
Скажи мне, что нас разлучает
и всё ж расстаться не даёт?
1958

Не уделяй мне много времени,
Вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
Руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,
По следу следа моего.
Я знаю - снова не получится
Из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости
Хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости - из горести
Так прямо голову держу.
1957

Жилось мне весело и шибко.
Ты шёл в заснеженном плаще,
и вдруг зелёный ветер шипра
вздымал косынку на плече.
А был ты мне ни друг, ни недруг.
Но вот бревно. Под ним река.
В реке, в её ноябрьских недрах,
займётся пламенем рука.

«А глубоко?» - «Попробуй смеряй! -
Смеюсь, зубами лист беру
И говорю: - Ты парень смелый,
Пройдись по этому бревну».

Ого - тревоги выраженье
в твоей руке. Дрожит рука.
Ресниц густое ворошенье
над замиранием зрачка.

А я иду (сначала боком), -
о, поскорей бы, поскорей! -
над тёмным холодом, над бойким
озябшим ходом пескарей,

А ты проходишь по перрону,
закрыв лицо воротником,
и тлеющую папиросу
в снегу кончаешь каблуком.
1957

Дождь в лицо и ключицы,
и над мачтами гром.
Ты со мной приключился,
словно шторм с кораблём.

То ли будет, другое...
Я и знать не хочу -
разобьюсь ли о горе,

или в счастье влечу.

Мне и страшно, и весело,
как тому кораблю...

Не жалею, что встретила.
Не боюсь, что люблю.

1955

Это я...

Это я - в два часа пополудни
Повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.
Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа - это я
в знойный день довоенного лета
озираю красу бытия.
«Буря мглою...», и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы, -
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.
Как белеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.
С непригожим голубеньким ликом,
еле выпростав тело из мук,
это я в предвкушение великом
слышу нечто, что меньше, чем звук.
Лишь потом оценю я привычку
слушать вечную, точно прибой,
безымянных вещей перекличку
с именующей вещи душой.
Это я - мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.
Словно дрожь между сердцем и сердцем,

есть меж словом и словом игра.
Дело лишь за бесхитростным средством
обвести её вязью пера.
- Быть словам женихом и невестой! -
это я говорю и смеюсь.
Как священник в глуши деревенской,
я венчаю их тайный союз.
Вот зачем мимолётные феи
осыпали свой шёпот и смех.
Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.
Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,
юной гончей мой почерк несётся,
вот настиг - и озябла душа.
Это я проклиная и плачу.
Пусть бумага пребудет бела.
Мне с небес диктовали задачу -
я её разрешить не смогла.
Я измучила упряжью шею.
Как другие плетут письма -
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.
Это я - человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, куда идёт электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.
Мне не выпало лишней удачи,
слава богу, не выпало мне
быть заслуженней или богаче
всех соседей моих по земле.
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою -
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моём и на их языке.

1950-е

Мои товарищи

1.

- Пока! - товарищи прощаются со мной.
- Пока! - я говорю. - Не забывайте! -
Я говорю: - Почаще здесь бывайте! -
пока товарищи прощаются со мной.

Мои товарищи по лестнице идут,
и поднимаются их голоса обратно.
Им надо долго ехать - до Арбата,
до набережной, где их дома ждут.

Я здесь живу. И памятливы давно
мне все приметы этой обстановки.
Мои товарищи стоят на остановке,
и долго я смотрю на них в окно.

Им летний дождик брызжет на плащи,
и что-то занимается другое.
Закрыв окно, я говорю: - О горе,
входи сюда, бесчинствуй и пляши!

Мои товарищи уехали домой,
они сидели здесь и говорили,
ещё восходит над столом дымок
- это мои товарищи курили.

Но вот приходит человек иной.
Лицо его покойно и довольно.
И я смотрю и говорю: - Довольно!
Мои товарищи так хороши собой!

Он улыбается: - Я уважаю их.
Но вряд ли им удастся отличиться.
- О, им ещё удастся отличиться

от всех постылых подвигов твоих.

**Удачам все завидуют твоим -
и это тоже важное искусство,
и всё-таки другое есть Искусство, -
мои товарищи, оно открыто им.**

**И снова я прощаюсь: - Ну, всего
хорошего, во всём тебе удачи!
Моим товарищам не надобно удачи!
Мои товарищи добьются своего!**

2.

Андрею Вознесенскому

**Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.
Я горестно упрёкам этим внемлю,**

**я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.**

**За ним я знаю недостаток злой:
кощунственно венчать «гараж» с «геранью»,
и всё-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землёй.**

**Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом, - это глупость.
Гораздо больше в нём азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.**

**И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Всё это так. Но всё ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.**

Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглёра.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»

Люблю, что слова чистого глоток,
как у скворца, поигрывает в горле.
Люблю и тот, неведомый и горький,
серебряный какой-то холодок.

И что-то в нём, хвали или кори,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему - горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови.

Всё остальное ждёт нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, бог не приведи!
1950-е